

УДК 1(091)

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В XVIII–XIX СТОЛЕТИЯХ

Ю.Д. Гранин

ФГБУН Институт философии РАН, г. Москва

В статье анализируются социальные, мировоззренческие и теоретические предпосылки формирования феномена «социальное государство» в западноевропейских странах XVIII–XIX столетий. Его становление было связано с переосмыслением представления об «общественном благе», за пределами которого оказывались бедность и социальное неравенство. Эта тенденция игнорирования бедности и социального неравенства поддерживалась верой во всемогущество рационально устроенного государства. Последнее на протяжении двух столетий решало проблему бедности мерами изоляции, морального осуждения и дисциплинарного насилия. Постепенно, однако, вместе с разрушением наивного рационализма и механистической картины мира вырабатывается новое представление о государстве. Теперь оно включает в сферу своей ответственности, помимо политических прав человека и гражданина, его социальные права.

***Ключевые слова:** бедность, государство, социальное государство, социальная политика.*

Обращение к вынесенной в заглавие теме обусловлено прежде всего тем, что в современном теоретическом дискурсе о социальном государстве, истории его становления именно вопрос о специфике социальной политики европейских государств в XVIII–XIX вв. оказался на периферии внимания. Безусловно констатируя появление «правового государства» в западноевропейских странах уже в XVIII столетии, оставляют без внимания проблему правовой неполноты этого государства в тот исторический период: социальные права его граждан исключаются из перечня прав и свобод человека и гражданина. Но почему? Почему идея (концепт) «социального государства» как института, обязующего самого себя решать проблемы социального, прежде всего экономического, неравенства правовыми средствами, появляется только в середине XIX столетия? Краткий ответ гласит: потому что в то время «социальный вопрос» (нищеты, безработицы, бедности, с одной стороны, и богатства – с другой) решался государством исключительно дисциплинарными методами. Рассмотрим, как это было...

Осуждение и изоляция бедности государством в «век Разума»

Когда применительно к европейской истории пишут о «веке Разума», то, как правило, имеют в виду не какое-то особое столетие (XVIII в.), а так называемое «Новое время» - исторический период, не имеющий четких хронологических границ, далеко выходящий за преде-

лы «эпохи Просвещения» промежуток времени. В экономическом аспекте «век Разума» (Новое время) хронологически совпадает с движением капитализма от доиндустриальной (мануфактурной) к индустриальной фазе развития (XVII – первая треть XIX в.), а в политическом – с переходом государств Западной Европы от феодальной организации к абсолютистской форме правления и затем к суверенным национальным правовым государствам. Этот переход был осуществлен в череде европейских социальных революций (Нидерланды, Англия, Франция), базовой предпосылкой которых было развитие нового – капиталистического – способа производства с сопутствующим ему ростом городов, внутрискановой, региональной и межконтинентальной торговли, миграции, ростом социальной мобильности населения и появлением новых социальных групп. Помимо этого данный переход был ознаменован революционными изменениями в сфере научной мысли и осуществлен под влиянием *европейского рационализма* – мировоззрения, под определяющим воздействием которого, в свою очередь, происходило формирование естественных наук и социальных учений Нового времени, оказавших существенное влияние на мировоззрение и мировосприятие современников [4–6].

Как известно, появление рационализма в качестве специфического феномена западноевропейской жизни в целом и политической жизни в частности было связано с развитием философии и науки в эпоху Возрождения и в Новое время, теоретически обосновавшими принцип деятельностной активности субъекта (человеческого «разума»), который позиционировал природу и общество в качестве «объекта» человеческих действий. Для политической и социальной практики того времени это открывало возможность «инженерного отношения» к действительности, которым не преминуло воспользоваться государство в своих попытках рационализации собственного устройства.

Это выразилось в появлении феномена *камерализма* (*Kammer* – по-немецки «палата», но также «кладовая») – идеологии и практики производства дискурсов в трех основных областях: организации государственных финансов, системы хозяйствования (*Oeconomie*) и упорядочивания общества (*Polizei*). Наиболее известными продуктами камералистской идеологии были экономическая доктрина меркантилизма и теория административного устройства «*gute Polizei*» – правильно управляемого государства. Уже с XVI в. многочисленные ученые трактаты и публицистические памфлеты распространяли представление о том, что целью правителя является достижение общественного блага всех подданных, а средством к этому является рациональная и благотворная деятельность просвещенных (образованных) служащих, заседавших в королевских *Kammer* (членов советов, или коллегий). В подавляющем большинстве эти «камеры» имели характер тайных советов при королевской особе, главной задачей которых было изыскание все новых

налогов для постоянно пустеющей королевской казны. Но «на бумаге» все эти меры посредством политического воображения о рациональном устройстве государства *подавались как элемент прогрессивного упорядочивания ради общего блага*, которым, будто бы, занимались «камералисты». Эти лояльные абсолютной королевской власти чиновники, как правило, были выходцами из самых разных сословий, обладавшими единственным преимуществом перед другими – «символическим капиталом» (знаниями).

Именно они образовали «просвещенную бюрократию», получившую монополию на преобразование методов организации военной и административной «машин» и контроля за их действиями [1]. Способность концентрировать экономические и политические ресурсы посредством относительно стройной военной и административной государственной машины с ее обученной бюрократией далеко превосходила возможности и эффективность других государств, включая самые мощные империи – Османскую, Монгольскую и Китайскую. Только те империи, которые переняли западную модель государства, как это частично сделала послепетровская империя Романовых, впоследствии смогли выжить, сохранить и приумножить свои территории. Хотя в XVII–XVIII вв. в составе государственных элит и в системе эксплуатации крестьянства еще остались многие элементы феодализма (особенно в Восточной Европе и, тем более, в России), этот *новый тип бюрократического государства поощрял рост богатого буржуазного класса* и связанных с ним людей «свободных профессий» – *протоинтеллигенции*, противостоявших власти католической церкви и монархии. Возникнув в результате эрозии сословной организации общества, формально (юридически) она состояла не только из представителей «третьего сословия», но и парадоксальным образом включала в свой состав многочисленных представителей образованного дворянства и даже аристократии. Можно сказать, что в эпохи позднего феодализма и раннего Нового времени *протоинтеллигенция персонифицирует собой критико-рефлексивный потенциал общества, его функциональную и критическую рациональность*, во многом обусловившую и предопределившую пути дальнейшего экономического и социально-политического развития западноевропейских стран [3]. Поэтому когда монархия лишалась реальной власти или была смещена, именно этот слой унаследовал традиции и концепции накопленного веками искусства рационального управления государством, а также государственную машину для осуществления политики камерализма в своих интересах.

Как демонстрируют современные исследования, «камерализм» (*Kameralwissenschaft*) представлял собой колоссальных масштабов риторический механизм, основным результатом которого было не точное экономическое или социальное знание и не инновационные практические советы производственного и административного характера, а создание и продвижение самого *представления о государстве как едином*

рационально устроенном механизме, обслуживаемом лояльными и квалифицированными чиновниками. Абстрактная идея “государства” внедрялась в умы подданных и правителей, формировалось представление о чиновнике как служащем этому государству – не из вассального подчинения сюзерену и не ради корыстного злоупотребления должностью (“кормления”), а с целью внести вклад в общественное благо» [2, с. 328–329], путь к которому осмысливался как движение от сословного к политическому обществу («нации») и в категориях частной выгоды и универсальной законности.

Специфика и горизонты этого осмысления определялись не только изменениями социальной структуры западноевропейских обществ, но и трансформацией мировоззрения, характерной чертой которого стали *антропоцентризм и механицизм*. В его пределах Вселенная и Природа интерпретируются как подчиненные естественным законам – законам механики, и *образ мира как механизма становится доминирующим в мировоззренческих ориентациях человека Нового времени вплоть до начала второй половины XIX столетия*. Именно тогда в работах фон Штейна впервые формулируется идея (концепт) «социального государства» как института, обязующего самого себя решать проблемы социального, прежде всего экономического, неравенства законными средствами. Но почему эта идея не появилась раньше, в XVII–XVIII вв.? Ведь тогда становление капитализма в западноевропейских странах не только не поднимало уровень и качество жизни подавляющего большинства населения, но, наоборот, сопровождалось ростом нищеты и массовой безработицы по всей Европе. Развернутый ответ на эти вопросы требует эмпирического подтверждения. А потому обратимся к историческим фактам. Вот лишь несколько из многих примеров.

Уже в конце XVI в., эпохи постоянного расширения английского могущества, английская королева Елизавета после триумфального путешествия по своим владениям с удивлением и разочарованием воскликнула: «Повсюду нищие!» Ибо на смену коллективному владению землей свободными английскими йоменами пришла (за счет огораживания общинной земли лендлордами, где раньше каждый мог пасти скот и добывать торф) частная собственность на землю, ставшая для английских крестьян настоящей трагедией. Лишенные права использовать некогда общую землю, они больше не могли зарабатывать на прокорм семьи «фермерством». Стать фабричными рабочими им пока также было не суждено – фабрик тогда еще не было. В результате эти люди сформировали самый несчастный и угнетенный из всех классов – аграрный пролетариат, а в тех местностях, где рабочих мест в сельском хозяйстве не доставало, они становились бродягами, попрошайками и ворами.

Потрясенные повсеместным распространением нищеты Елизавета и английский парламент приняли законодательные меры: в 1601 г. был принят Закон о бедных. Он был рассчитан на оседлых бедняков,

временно лишившихся работы, – предполагалось, что страх бедности заставит людей работать. Однако это не решило проблему пауперизма: количество профессиональных бедных и бродяг не уменьшилось. Поэтому в 1607 г. в каждом графстве был создан Исправительный дом, но это лишь локализовало проблему. Хотя церковным приходам было вменено в обязанность выплачивать беднякам скудные пособия, а в отношении бродяг предписывалось применять телесные наказания и клеймения, это не помогало. Тогда бедных было предписано «отправлять в изгнание и препровождать под конвоем во вновь открытые земли в Восточной и Западной Индиях». Но и при Кромвеле, отмечает Хайлброннер, проблема все еще не решена: лорд-мэр сетует на «весь тот сброд, что стекается в город, нарушает общественный порядок, осаждают кареты и громогласно требует подаяния у церковных врат и у дверей частных домов» [13, с. 36–38].

И то же самое происходит в Германии, Нидерландах, Франции. Так, парижские нищие подлежат публичной порке на площади; затем им выжигают клеймо на плече, обривают голову и изгоняют из города. А чтобы они не вернулись назад, ордонанс 1607 г. предписывает «размещать у городских ворот отряды лучников, чтобы они не пускали в город голытьбу». И везде, как показал Мишель Фуко, церковь и камералистское государство используют *дисциплинарные методы власти* – «изоляцию» бедности. По всей Западной Европе создаются «госпитали» и «работные дома», в которые насильно помещают душевнобольных, бродяг, бездомных и нищих, заставляя их работать по строго регламентированным планам (подробнее см.: [11, с. 63–93]). Это было связано со многими обстоятельствами.

Прежде всего, с сопровождавшими капитализм с самого рождения периодическими экономическими кризисами, выбрасывавшими на улицу тысячи людей и сотрясавшими Европу XVI–XVII столетия религиозными войнами. Свою роль сыграла и так называемая «протестантская этика», в пределах которой произошла реинтерпретация милосердия: если в католицизме призрение нищих – «людей Божьих» – богоугодно, то протестантизм видит милосердие в предоставлении возможности обучиться ремеслу и работать. Уже со времен Лютера и Кальвина бедность и нищета несли на себе печать вечного проклятия и кары. Теперь же, отмечает Фуко, «в мире государственного милосердия» нищета «превратится в попустительство человека к самому себе, в прегрешение, нарушающее размеренный ход государственного механизма. Из сферы религиозного опыта, ее освящавшего, она соскальзывает в область моральных категорий, где подлежит осуждению. В конечной точке этой эволюции и возникают крупные изоляторы и смиренные дома – безусловно, как результат обмирщения милосердия, но и, подспудно, как нравственное возмездие нищете» [11, с. 75]. Не случайно во многих протестантских странах с XVI в. действовало жесткое законодательство

против бродяг, нормы которого в ряде случаев экстраполировались и на представителей «второго сословия» – разорившихся и праздношатающихся отпрысков дворянских родов также помещали в «рабочие дома». Но следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, о котором мы уже упоминали: о характере мировоззрения, которое формируется в XVII–XVIII столетиях.

Его специфической чертой была, с одной стороны, убежденность в рациональном устройстве природы и общества и соответственно всеисильности человеческого Разума: *познаваемости Мира с помощью умозрения*. «Все действительное разумно, все разумное действительно» – эта интуиция (позже концептуализированная Гегелем) стимулировала интеллектуалов к поиску рациональных моделей общественного устройства вплоть до середины XIX в. С другой стороны, бурное развитие и колоссальные успехи естественных наук в XVII–XVIII столетиях (прежде всего математики, физики и механики) провоцируют интеллектуалов и рекрутируемых из них «просвещенных бюрократов» на понимание истории человечества и социального развития как подчиненных законам естественного характера, что, в частности, создавало возможность использования математического анализа в сфере изучения социальной и экономической жизни.

Ориентированное на понимание социального развития как последовательного шествия по ступеням «общественного прогресса» под эгидой Разума, это было мировоззрение дуалистического характера, причудливо сочетающее «науку» и «метафизику» (философию). С течением времени «удельный вес» данного сочетания в практике государственного управления менялся отнюдь не в пользу философии: рационализация государства, чем дальше, тем больше, двигалась в сторону «сциентизации» познания и управления обществом. По крайней мере «Трактат по политической экономии» (1615) представителя развитого меркантилизма Антуана де Мокретьена, «Политическая арифметика» физиократа Уильяма Петти и Джона Граунта, открывших эру математической и демографической статистики, работы известного швейцарского ученого-математика Якоба Бернулли (1654–1705), предложившего использовать теорию вероятности при исследовании общественных явлений, «Философский опыт о вероятностях» знаменитого астронома Пьера Симона Лапласа (1749–1827), применившего теорию вероятности для определения и прогнозирования смертности и средней продолжительности жизни населения Франции, наконец, «социальная физика» Огюста Конта свидетельствуют именно об этой тенденции.

В соответствии с принципом разграничения и противопоставления субъекта и объекта научного познания, развивавшегося в XVII в. в сложной диалектике программ эмпиризма и рационализма в классической науке, внешняя государству социальная действительность также мыслилась как «объект», который в принципе может быть изучен, про-

считан и пересобран подобно механизму. Этому, в частности, способствовало появление первых версий «политической экономии», акцентировавшей внимание на ведущей роли государства в экономической жизни европейских стран, и «политической арифметики». Дальнейшее развитие последней (в трудах Галлея, Кинга, Давенантата, Шорта, Эйлера) положило начало переходу от простого описания общественных явлений к наблюдению их порядка и последовательности, а также к сбору преимущественно количественной информации.

Но были и попытки теоретических обобщений посредством разного рода «таблиц». Наиболее известна знаменитая Экономическая таблица Франсуа Кенэ, последователи которого получили название «физиократов». Последние использовали составленные числовые и табличные выражения социальных, прежде всего экономических явлений для прогнозирования возможных последствий общественного развития и предвидения еще неизвестных общественных фактов. Так что уже в XVIII столетии под влиянием «политической арифметики» и «политической экономии» *пересборка «социального» производилась камералистским государством рациональным образом*: путем классификации, категоризации и систематизации населения, подобным систематизациям и классификациям минералов и живых существ в минералогии и биологии. «Ботанические сады и зоопарки, – отмечает Сокулер, – превращались в материальные пространственные классификации живых существ. Наблюдение, контроль и регулирование обращения денег и товаров осуществлялись с помощью построения экономических таблиц. Военный лагерь становился таблицей видов и родов вооруженных сил, находящихся в этом лагере. Пространство госпиталя отражало систематическую классификацию болезней. Таблицы и размещения были средствами и наблюдения-контроля, и изучения. Таблицы в XVIII в. были одновременно техникой власти и процедурой познания» [10, с. 15].

Этот феномен Мишель Фуко в своих работах называл и «волей к знанию» (в первом томе своей «Истории сексуальности») и «властью-знанием». Но так или иначе *повсеместное и расширяющееся использование научного знания* сначала абсолютистским, а затем и правовым демократическим *государством для решения своих целей и задач* создавало зоны изоляции и дисциплинарные пространства, постепенно охватывающие многие социальные институты: армию, школу, медицинские учреждения, мануфактуры и рабочие дома, куда, напомним, попадали самые разные люди. Строго говоря, эта практика противоречила теориям естественного права и общественного договора, на основе которых формировалось западноевропейское правовое государство. Получалось, что из состава «естественных» прав исключалось право человека на свободу передвижения («бродяжничество»), право на труд или его отсутствие, право на «бедность». Поскольку даже гражданские права (право избирать и быть избранным) в XVIII в. и много позже были со-

циально, гендерно и имущественно ограниченными, выходило, что основанный на человеческом разуме «общественный договор» не распространялся на всех жителей правового государства. Если уподобить последнее обладающему разумом и рассудком кантовскому субъекту, то указанные ограничения были бы подобны «априорным формам созерцания», которые делали возможной категоризирующую население («рассудочную») деятельность государства по дисциплинарной обработке и трансформации социальной действительности в «разумное» состояние. И поскольку вызванные развитием капитализма «бедность», «бродяжничество», «безработица», «преступность» и иные девиантные, с точки зрения морали тех лет, формы поведения, несмотря на меры государственного воздействия, расширенно воспроизводились, их, как показал Фуко, записали по ведомству «неразумия».

Подобная практика вполне рациональна: если «бедность» выводится за пределы разума и записывается по ведомству «неразумия», вполне разумно применять к ней меры изоляции, морального осуждения и дисциплинарного насилия. И такая «социальная политика» реализуется более двух столетий: практика обязательного труда в условиях изоляции, имеющая цель снять социальное напряжение в периоды экономических кризисов, сохраняется вплоть до середины XIX в. Правда, она оказалась экономически крайне неэффективной: даже когда рабочие дома захотели превратить в мануфактуры, где доход делился пополам заведением и предпринимателем, они не дали ожидаемого эффекта ни в периоды экономических кризисов, ни во времена экономического подъема: «Поглощая безработных, они главным образом маскировали их нищету и позволяли избежать социальных и политических неудобств, причиняемых их волнениями; однако, распределяя их по принудительным мастерским, дома эти способствовали росту безработицы в прилегающих регионах или в соответствующих секторах экономики» [11, с. 85].

Век Просвещения и Разума не смог не только снять, но и ослабить социальные противоречия, в том числе и по причине веры в «рынок» и переоценки возможностей разумного переустройства социального мира посредством рационально устроенной государственной власти. Как и Природа, Социум и Человек (его тело, его восприятие и мышление) уподоблялись огромному механизму, законы которого, подобно математическим формулам, могли быть открыты посредством умозрения, по необходимости имеющего философский характер. Полученное таким образом *знание* о справедливом нравственном и закономерном устройстве общественной жизни мыслилось как имеющее всеобщий характер. И стоило только, полагали мыслители тех лет, осветить (через систему образования) этим знанием о справедливом устройстве общества умы властителей и их подданных, и обретение искомого царства свободы (от сословного неравенства, королевской власти и т. д.) казалось гарантированным.

Правда, требовалась еще система перевоспитания современников. И здесь ведущая роль отводилась построенному на принципах «общественного мнения» новому парламентскому государству. «Всевидящее око» общественного мнения и построенное в соответствии с ним «государство», от взгляда которого не должно ускользнуть девиантное поведение никого из его граждан, казались главными средствами достижения рационально управляемого общественного устройства.

Концентрированным выражением этой мировоззренческой установки (позиции) стал изданный в 1787 г. технократический проект одного из теоретиков политического либерализма и родоначальника английского утилитаризма Иеремия Бентама. Руководствуясь заботой об общественном благе, юрист Бентам изобрел «Паноптикон» – тюрьму нового типа, основанную на принципе «видеть все» (от др.-греч. *πάν* – «всё» + *ὀπτικός* – «зрительный»). Он вывернул наизнанку принцип темницы, выведя заключенных на свет из тьмы казематов – все камеры кольцеобразной тюрьмы были освещены так, что просматривались из центральной башни, в которой сидит один надзиратель, от взгляда которого не должны были ускользнуть ни заключенные, ни охранники. Здесь важен был сам принцип всевидящего ока, который, по мысли Бентама, гарантировал не только утрату возможностей творить зло, но и *«почти полную утрату мысли желать его»*.

И это было не только удобно, но и экономически и политически выгодно, так как принцип Паноптикума предлагалось использовать не только для строительства новых пенитенциарных учреждений, но и для промышленных мануфактур и работных домов. Спустя несколько лет после написания «Паноптикона», в 1794 г. Бентам составил план широкого привлечения неимущих для обслуживания дерево- и металлообрабатывающих машин, придуманных его братом Сэмюэлем. По этому поводу К. Поланьи, назвавший Бентама самым плодовитым из социальных проектировщиков, написал: «Бентаму и его брату, организовавшим общее дело, нужен был паровой двигатель. И вот им пришлось в голову использовать вместо пара заключенных» [9, с. 122]. А затем и бедных, размещенных в работных домах. Таких работных домов, спроектированных по типу Паноптикума и общей численностью не менее полумиллиона человек, предполагалось построить около 250 по всей Южной Англии. И этот же принцип организации предлагалось использовать для строительства домов призревания, лазаретов, фабрик, больниц, домов умалишенных, учебных заведений, где «каждый товарищ становится наблюдающим».

Фактически перед нами тоталитарная утопия. Не случайно, М. Фуко в работе «Надзирать и наказывать» и позже называл Бентама «дополнением к Руссо», Паноптикон – «Оком власти», а самого великого моралиста – «Фурье полицейского государства». Однако его идеи опирались на дискурс французских философов-просветителей – так называемых «идеологов» (Кабаниса, Антуана Дестюта де Траси, Вольнэ

и др.), которые стали основателями учения об «идеологии» как науке о всеобщих и неизменных законах образования идей. В своих исследованиях формирования общих идей и связей между ними они, с одной стороны, опирались на идеи предшествующих французских материалистов, считавших мысли продуктом человеческого мозга, а с другой – отводили важное место анализу языка, грамматике и логике. В сущности, этот дискурс давал своего рода общий рецепт управления людьми посредством невидимого им – идеологического – контроля власти над страстями и мыслями сограждан. Вот хорошая иллюстрация этой идеи, высказанная в 1767 г. французским прокурором, а затем публицистом Ж.М.А. Серваном: «Сформировав в сознании граждан цепочку мыслей, вы сможете гордиться тем, что исполняете роль их вождей и хозяев. Глупый деспот приковывает рабов железными цепями; истинный политик связывает их еще крепче цепью их собственных мыслей; первое ее звено он закрепляет в надежной точке – в разуме. Связь эта тем крепче, что мы не знаем, чем она держится, и считаем ее делом собственных рук. Отчаяние и время разъедают скрепы из железа и стали, но бессильны против привычного соединения мыслей, разве лишь укрепляя его. На мягких волокнах мозга возводится прочный фундамент мощнейших империй» [12, с. 67].

Практическое воплощение этой идеи было осуществлено в тоталитарных государствах XX столетия: XVIII в. до этого все же не додумался. Его завершение и начало следующего столетия прошли под знаком Великой французской революции, похоронившей надежды просветителей на наступление эры «истины, добра и красоты». Вместе с ними были временно оставлены надежды на достижение «равенства» и «справедливости» – тех идеалов, которые определили чаяния и направление интеллектуального развития XVIII столетия. *Следующий за ним XIX в. изменил вектор движения в области прав человека: он эволюционировал от преимущественного внимания к «политическим правам» гражданина к его социальным правам.* И это был первый шаг на пути к социализации европейского государства, но он был сделан не сразу.

От дисциплинарного к социально защищающему государству

Продлившийся до середины XIX столетия «долгий XVIII век» представлял собой клубок социально-экономических противоречий. И если наводил на какие-либо размышления, то уж точно не о разумном устройстве или нравственной цели, о которых писали Руссо, Дидро, Адам Смит и Давид Рикардо. В работах последних социальное неравенство и сопутствующая ему повсеместная бедность объявлялись неустранимыми, так как, будто бы, постоянно провоцировались «неутолимой жаждой размножения» низших слоев, которая якобы будет только увеличиваться по мере повышения им заработной платы и вообще перераспределения общественного богатства в их пользу. По мнению

великих экономистов тех лет, «рост богатства народов» (А. Смит), выраженный прежде всего в росте промышленности, обеспечивается ростом капитала и такой заработной платой, которая сдерживала бы рост народонаселения (Мальтус, Таусенд) и не снижала бы прибыли землевладельцев и фабрикантов. И вот такая «диалектика» цены труда и капитала интерпретировалась как необходимое следствие «естественных» законов «рынка», сопротивляться которым также бессмысленно, как пенять на восходы и закаты Солнца.

В этой связи следует обратить внимание на то, что концепция «рынка», как она понималась в XVIII в., не только не вселяла оптимизма в читающую публику и правящие элиты, но и фактически *объявляла бедность неизбежным и неустранимым условием и следствием промышленного роста и экономического развития*. Таким образом экономическая наука теоретически ликвидировала разрыв с социальной практикой, одновременно открывая дорогу множеству иных (идеологических, по сути) способов решения проблемы бедности, неизбежно переводя обсуждение в более широкий контекст «социального неравенства». Если раньше бедность и безработица записывались по ведомству «неразумия», то теперь (и чем дальше, тем больше) они квалифицировались как общенациональная «социальная и политическая проблема», которая требовала от правительств европейских государств незамедлительного и верного решения. А его не было.

Конституционно-демократическая Англия была самой сильной в военном и промышленном отношении морской империей и первой вступила в индустриальную фазу развития. Но исторический парадокс заключался в том, что, невзирая на статистически фиксируемый рост торговли и промышленного производства, проблема массовой бедности и безработицы там только обострялась. Праздные классы соревновались в утонченности образа жизни, не без пафоса и цинизма обсуждая на страницах газет «неотложные меры» борьбы с бедностью: «Одни авторы возлагали вину на новую породу крупных овец, другие – на лошадей, которых следовало бы заменить быками; были и такие, кто настойчиво рекомендовал держать поменьше собак. Некоторые полагали, что неимущим нужно есть поменьше хлеба или даже вовсе без него обходиться, тогда как другие были убеждены, что, «даже если бедняк питается самым лучшим хлебом, этого ни в коем случае нельзя ставить ему в вину». Считалось, что здоровью многих бедняков сильно вредит чай, зато домашнее пиво превосходно его восстанавливает; те же, кто принимал этот предмет особенно близко к сердцу, заявляли, что чай ничем не лучше самого дрянного пойла» [9, с. 105]. А в это время в шахтах Дарема и Нортурмберленда, пишет Хайлбронер, «голые по пояс женщины работали бок о бок с мужчинами, иногда они были измождены настолько, что напоминали скорее тени, нежели человеческие существа. В ходу были дикие и жестокие обычаи. Внезапно возникавшие сексуальные по-

требности удовлетворялись в заброшенной шахте неподалеку. Не видевшие света на протяжении зимних месяцев дети от семи до десяти лет работали наравне со всеми и терпели всяческие унижения – шахтеры платили им жалкие гроши за то, чтобы те передвигали полные угля вагонетки. Беременные женщины волокли ящики с углем, словно лошади, и нередко рожали прямо в темноте пещеры» [13, с. 53]. И на многочисленных английских мануфактурах ситуация была немногим лучше.

На этом фоне 6 мая 1795 г. мировые судьи графства Беркшир постановили, что в дополнение к заработной плате беднякам следует выдавать денежные пособия в соответствии со специальной шкалой, привязанной к ценам на хлеб, чтобы таким образом нуждающимся был обеспечен минимальный доход независимо от их заработков. Данное решение беркширских судей стали называть «законом Спинхемленда». Фактически это был первый исторический аналог применяемого теперь в некоторых странах «безусловного дохода», который, однако, уже тогда (и много позже) оценивался неоднозначно. С одной стороны, его можно трактовать как акт гуманизма «добрых сквайров», который после отмены в этом же 1795 г. Акта об оседлости 1662 г., закреплявшего сельскую бедноту за церковными приходами (и потому названный «приходским крепостным правом»), давал сотням тысяч людей «право на жизнь», т. е. возможность не умереть с голоду. С другой стороны, он породил проблему, которая актуальна до сей поры: стоит ли работать, когда можно жить на пособие? Обсуждая эту проблему, К. Поланьи пришел к выводу, что закон Спинхемленда стал орудием деморализации масс, породив массовую пауперизацию населения.

Возможно, он прав. Но надо учитывать, что даруемое этим законом «право на жизнь» совсем не было правом на «достойную жизнь», а было лишь правом на нищету: закон, повторим, лишь давал возможность жить впроголодь, а потому о «валянии дурака» получавших пособия можно говорить лишь с натяжкой. Промышленные центры продолжали притягивать избыточное население сельских районов, так как фабриканты готовы были даже платить за использование неимущих. Их предоставляли в распоряжение любого нанимателя, который соглашался взять на себя их прокорм, точно так же, как могли бы их распределять по очереди между фермерами прихода при той или иной форме «работы на подхвате». Сдача бедняков в аренду обходилась дешевле, чем содержание «тюрем для невиновных», как называли работные дома.

Класс фабрикантов решительно требовал реформы законодательства о бедных, поскольку оно препятствовало формированию промышленного рабочего класса, доходы которого зависели бы от результатов труда. В итоге в 1834 г. так и не ставший общенациональным актом «закон Спинхемленда» был отменен вновь избранным парламентом, знаменовавшим собой политическую победу промышленной буржуазии. Согласно новому Закону о бедных «лица, живущие самостоятельно, впредь лишались права

на пособие. Закон проводился в жизнь дифференцированно и на общенациональном уровне; в этом отношении он также означал решительный разрыв с прежней практикой. С дотациями к заработной плате было, разумеется, покончено» [9, с. 117]. В 1834 г. также были приняты поправки к законодательству о бедных, в корне изменившие ситуацию.

О плюсах и минусах Акта о внесении поправок к Закону о бедных Й. Шумпетер пишет, что «он ограничил помощь беднякам их содержанием в работных домах и в принципе запретил выдачу пособия тем, кто в них не живет; идея заключалась в том, что нельзя обрекать на голодную смерть трудоспособного безработного, пребывающего в нужде, но содержать его следует в полутюремных условиях» [14, с. 351]. Таким образом, идея И. Бентама о работных домах как факторе экономического развития получила законодательное воплощение. Восходящая к вере во всемогущество «рынка» и принципа *laissez-faire* английской политической экономии (Смит, Рикардо), она, напомним, базировалась на аксиоме взаимосвязи процветания и нищеты (богатства и бедности), баланс между которыми устанавливается естественным образом: «физической санкцией голода». Поэтому хотя Бентам и рекомендовал в работе «Принципы гражданского кодекса» в 1820-х гг. «ввести постоянный налог в пользу неимущих», но с сожалением добавлял, что, рассуждая теоретически, подобная политика «уменьшает нужду и таким образом наносит ущерб промышленности, ведь *с точки зрения утилитаризма задача правительства заключалась как раз в том, чтобы увеличивать нужду, делая эффективной физическую санкцию голода*» [9, с. 85]. Правительство, разумеется, не могло высказаться так откровенно, но практику изоляции бедности в работных домах, об ужасах которых писал Ч. Диккенс, продолжало до середины XIX в.

Однако постепенно вместе с разрушением прежнего рационализма и механистической картины мира, развитием науки и национальных систем образования возникает подозрение к «разумно устроенной» общественной системе и венчающему ее государству. В центре критики оказывается гегелевское представление о государстве как «шествии Бога в мире», как «земнобожественном существе». И философская максима «Все действительное разумно, все разумное действительно» подвергается пересмотру почти одновременно и параллельно в рамках либеральной, анархистской, коммунистической и консервативной мысли середины XIX в. Возникает идея «социального государства», предтечей которой стал Дж. Стюарт Милль, доказывавший в «Основах политической экономии» (1848) и других работах, что эволюция капитализма непременно приведет к такому уровню экономического развития, за которым наступит первая стадия социализма, когда человечество, наконец, перестанет гнаться за экономическим ростом и обратит внимание на крайне важные вопросы свободы и справедливости.

На основании того, что распределение жестким образом связано со способом производства, Маркс называл такой подход «вульгарным социализмом», подходом «плоского синкретизма», «который лучше всего представлен Джоном Стюартом Миллем» [7]. Но последующая конвергенция капитализма и социализма в XX столетии, выразившаяся в появлении и использовании многочисленных моделей «социального государства», показала историческую правоту Милля. Хотя первое концептуальное оформление этой идеи, появление термина «социальное государство» мы находим в двух трудах Лоренца фон Штейна: «История социального движения во Франции с 1789 года до наших дней» и «Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательства Франции, Англии и Германии».

Еще в 1842 г. в работе «Социализм и коммунизм в современной Франции» он, подчеркивая роль классовой борьбы, уделял особое внимание развитию пролетариата как революционного класса. Но уже в следующей работе «История социального движения во Франции с 1789 года до наших дней» (1850) фон Штейн перешел на эклектическую компромиссную позицию, сочетающую консервативные и социалистические идеи. Опираясь на диалектику Гегеля, он пришел к выводу, что нужно стремиться не к революции, а к построению такого *монархического* государства, в котором антагонистические противоречия труда и капитала разрешались бы вследствие осознания монархией угрозы социальной революции и целесообразности проведения социальных реформ, убеждающих в ненужности революционных изменений. «Любая монархия станет впредь пустой тенью или превратится в деспотию, или погибнет в республике, если не найдет в себе нравственного мужества стать монархией социальных реформ» [15, с. 281]. Важнейшим средством решения этой задачи является *превращение государства в орган обеспечения благосостояния всех классов*.

Интерпретируя государство «как возвысившуюся до личного состояния совокупность народа», представляющую собой и «общую самостоятельную личность», и одновременно «целостный (общественный. – Ю.Г.) организм из связанных между собой частей», фон Штейн из этих посылок дедуцирует вывод о том, что государство является единственным гарантом социальной стабильности (справедливости) и тем самым «возвышается над всеми остальными общественными институтами и интересами» [15, с. 95]. Если демократическая власть всегда является итогом классового противостояния, то монархическое государство имеет внеклассовый характер, а потому не только не исключает, но и предполагает «органическое участие народа» в образовании государственной воли, воплощенной в конституционной монархии. Это участие народа фон Штейн рассматривал как «социальную демократию», которая «означает не народное представительство, а максимальный учет интересов, пожеланий, самого духа народа при выработке и проведении государ-

ственной политики. Только такое участие народа не будет подрывать самостоятельность государственной власти» [15, с. 280], которая должна взять на себя конституционную обязанность гармонизировать межклассовые противоречия.

В работах «Немецкая идеология» и «Святое семейство» К. Маркс справедливо характеризовал Л. фон Штейна как «переводчика идей французского социализма на язык Гегеля» [8]. В его работах мы не найдем строгой концепции социального государства. Но он первым ввел в научный оборот этот термин, позволивший интерпретировать государство не только как институт, веками используемый сословиями и классами в борьбе за власть и ее удержание, но и как *фактор сглаживания социальных противоречий путем устранения разрывов в уровне и качестве жизни сосуществующих противоборствующих социальных групп*. Дальнейшая история Германии, Франции, Великобритании, других европейских стран подтвердила жизнеспособность этой идеи.

Список литературы

1. Вебер М. Бюрократия / пер. А.Б. Рахманова // Личность. Культура. Общество. 2007, Вып. 1(34), Т. IX. С. 10–27.
2. Глебов С., Могильнер М., Семенов А. Долгий XVIII век и становление модернизационной империи. Ч. I // *Ab Imperio*. 2015. № 1. С. 328–329.
3. Гранин Ю.Д. Интеллигенция как фактор национализма // Журналист. Социальные коммуникации. 2016. № 1–2. С. 3–21.
4. Гранин Ю.Д. Национальное государство. Прошлое. Настоящее. Будущее. СПб.: Проектные решения, 2014. 240 с.
5. Гранин Ю.Д. Что такое глобализация? // Высшее образование в России. 2007. № 10. С. 116–121.
6. Гранин Ю.Д. Роль образования в формировании российской нации // Высшее образование в России. 2006. № 10. С. 150–156.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: в 50 т. 2 -е изд. Т. 19.
8. Маркс К., Энгельс, Ф. Соч.: в 50 т. 2-е изд. Т. 2, 3.
9. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002. 320 с.
10. Сокулер З. Структура субъективности, рисунки на песке и волны времени // Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Унив. кн., 1997. С. 5–20.
11. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Унив. кн., 1997. 576 с.
12. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 383 с.
13. Хайлбронер Р.Л. Философы от мира сего. Великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха и идеи / пер. с англ. И. Файбисовича. М.: Колибри, 2008. 432 с.

14. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3 т. / пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. СПб.: Эконом. школа, 2001. Т. 3. 596 с.
15. Штейн Л. фон. История социального движения во Франции с 1789 года до наших дней. СПб.: Тип. А.М. Котомина, 1872. 356 с.

SOCIALIZATION AS FACTOR TRANSFORMATION EUROPEAN STATES IN THE 18TH-19TH CENTURY

Yu.D. Granin

Institute of philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow

The article analyzes the social, ideological and theoretical prerequisites for the formation of the phenomenon of the social state in Western European countries of the 18th-19th century. The article discusses the social and worldview background for the formation of the phenomenon of the social state in the Western European civilization of the 18-19 centuries. Its formation was connected with reconsideration of idea of «the public benefit» outside which there were a poverty and a social inequality. This tendency to ignore poverty and social inequality was maintained by faith in the omnipotence of a rationally organized state. The latter for two centuries solved the problem of poverty with measures of isolation, moral condemnation and disciplinary violence. Gradually together with destruction of former rationalism and a mechanistic picture of the world, development of national education systems there is a suspicion to «reasonably arranged» public system and the state crowning it. New idea of the state is developed. Now it includes in the sphere of the responsibility besides the political rights of the person and citizen his social rights.

Keywords: *poverty, state, social state, social policy.*

Об авторе:

ГРАНИН Юрий Дмитриевич – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт философии РАН, г. Москва, Российская Федерация. E-mail: maily-granin@mail.ru

Author information:

GRANIN Yury Dmitriyevich – PhD, leading researcher of IFRAN, Professor. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation. E-mail: maily-granin@mail.ru